[50] Там же. С. 203.
[51] *Шестов Л.* Афины и Иерусалим. С. 237.
[52] *Шестов Л.* Киркегард и экзистенциальная философия. С. 72.
[53] *Шестов Л.* Афины и Иерусалим. С. 52.
[54] *Шестов Л.* Там же. С. 21 (цитата из Библии, I Кор. II, 9).
[55] Там же. С. 54.
[56] *Шестов Л.* Умозрение и откровение. С. 287.
[57] *Шестов Л.* На весах Иова. С. 213.
[58] *Шестов Л.* Умозрение и откровение. С. 196 (цитата из Ф. М. Достоевского).
[59] *Шестов Л.* Афины и Иерусалим. С. 105.
[60] Там же. С. 27.
[61] Там же. С. 125 (цитата из Ф. Ницше).
[62] *Шестов Л.* Умозрение и откровение. С. 67.
[63] Там же. С. 102.
[64] Там же. С. 66.
[65] Там же. С. 101 (цитата из Ф. М. Достоевского).
[66] Библия. С. 63 (Исход. Гл. 6;8).

НА ВЕСАХ ИОВА: СТРАНСТВИЯ ПО ДУШАМ

Лев Шестов

XLIII

«Иррациональный остаток» бытия. Иррациональный остаток бытия, который так беспокоил философов уже в отдаленнейшие времена пробуждения человеческой мысли и который так настойчиво и так бесплодно люди пытались «познать», т. е. разложить на элементы, присущие нашему разуму, — точно ли должен он внушать к себе столько страха, вражды и ненависти? Действительность нельзя вывести из разума, действительность больше, много больше, чем разум, — какая в том беда, почему человек усмотрел в этом беду? Если бы наша бухгалтерия обнаружила в балансе мироздания бесследные исчезновения — дело иное. Это значило бы, что кто-то у нас тайно похитил и похищает, быть может, что-нибудь для нас очень ценное и значительное. Но ведь при последнем счете обнаружен некий «остаток», «избыток» — и какой при том большой! Обнаружен невидимый и щедрый благодетель — гораздо более притом могучий, чем человеческий разум. И от этого благодетеля, столь щедрого на дары, мы, поскольку мы ищем «знания», во что бы то ни стало хотим освободиться. Мы добиваемся даже в метафизике «естественного» объяснения: чтобы не было благодетеля. Отчего, из гордости? Или из подозрительности? Timeó Danaós et dona ferentes*. Боимся, что хоть и благодетель и одаряет, но в конце концов превратится во врага и грабителя и все отнимет. Никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, кроме как на себя самого? Несомненно, что недоверчивость и подозрительность нашего разума есть главный источник рационализма. Если бы благодетель всегда благодетельство-

* Я боюсь данайцев, даже приносящих дары (*лат.*). Здесь и далее перевод Л. Шестова.

вал, всегда одарял — рационалистов бы не было, не было бы и скептиков, детей того же отца, что и рационалисты. Люди не были бы озабочены совсем методологиями и критикой способности суждения, а доверчиво и радостно воспевали красоту мира и великое могущество его Творца. Вместо трактатов «De intellectus emendatione» и рассуждений о методах у нас были бы псалмы, как у древних евреев, которые еще не умели считать и проверять. Но мы умеем считать, научились соображать. Мы говорим: одаряющий есть вместе с тем и отнимающий. Уже у греков главной темой философских рассуждений были γένοσις и φψορά, рождение и уничтожение. Творец создал вещи, дал им начало, но, как показывает опыт, все, что имеет начало, имеет и конец, притом такой обидный, горький, жалкий конец. У греков еще в дофилософский период явилась такая мысль, что человеку лучше всего было бы совсем не рождаться. То есть, чем жить, будучи осужденным на неизбежную гибель, лучше совсем не жить. И что если уже, не спрашивая нас, какая-то сила выбросила нас в этот мир, то лучшее, что для нас осталось, — это как можно скорее умереть. Не может быть, чтоб наша жизнь — вечное колебание между бытием и небытием — имела какую-нибудь ценность... Опыт показывает, что все, что имеет начало, имеет и конец. Разум, который убежден, что знает еще больше, чем ему дает опыт, устанавливает veritatem aeternam: все, что возникает, не может не исчезнуть, все, что имеет начало, не может не иметь конца. А стало быть, уверенно заключает он, всякого рода дары, именно потому, что они дары, что их прежде не было, неизбежно будут отняты: они даются нам только на подержание, во временное пользование. Единственно, что остается нам делать, — отвергнуть дары вместе с дарящим. И дары дурные, ибо будут отняты, и Дарящий плох, ибо отнимает. Хорошо только то, что добыто собственными силами, что не подарено, а присвоено нам «природой вещей», т. е. тем, что не вольно ни давать, ни отнимать: «рук» нет, выражаясь метафорически. Оттого, вероятно, Плотин с таким гневом набросился в последней книге II Эннеады на гностиков. Они обнаружили его собственную тайную мысль, но с гораздо большей отчетливостью и ясностью, чем ему хотелось. Иначе говоря, они были не только внутренне но и внешне гораздо более последовательными. У Плотина, как и у Платона, «бегство из мира» вовсе не обозначало отвращения к миру. И ему, конечно, многое «здесь» казалось отвратительным, и от многого он страстно желал избавиться. Но было и такое, от чего он ни за что не хотел отказываться, хотя бы и пришлось для этого самое материю передвинуть на ранг выше и признать за ней некоторое бытие. Сколько бы он ни рассуждал о ничтожности чувственных восприятий, сколько бы он ни доказывал, что «красота» лучше, чем прекрасные предметы, — ибо предметы возникают и исчезают, а красота вечна, — когда гностики предложили полное отречение от мира Плотин вышел из себя. Мир этот, наш, видимый, воспринимаемый «чувствами» мир, испорченный прибавлением небытийного, лживого, темного и злого элемента материи, мир этот все же дивно прекрасен, и его Плотин, хотя он, как и все «чувственное», подвержен изменению и, стало быть, должен считаться имеющим начало и об-

реченным на конец, не уступит и даже не побоится объявить его вечным, а гностиков, мир и его Творца поносящих, пригвоздить к позорному столбу... Но, спрашивается, во имя чего такая страшная борьба? Во имя объективной истины? Но ни Плотин, ни гностики не знали, конечно, наверное, вечен ли мир или возник во времени и уничтожится. «Доказательств» у них не было, не было даже тех эмпирических данных, добытых новейшей геологией и палеонтологией, на которых современная наука строит свою «историю мира». Но это отсутствие доказательств так же мало мешало Плотину утверждать свое, как и гностикам настаивать на своем. Для гностиков «зло» в мире превышало красоту, и они думали: пусть уж лучше мир погибнет, только бы с ним погибло и изначальное зло, принесенное в него бездарностью сотворившего его Демиурга. Плотин же, всецело погруженный в созерцание красоты мира, говорил: лучше разрешим себе непоследовательность в рассуждении и дозволим находящейся под строгим запретом чувственности проникнуть обратно в мир, только бы не отдавать этого дивного неба, божественных светил, прекрасного моря. Ибо, хотя они и постигаются чувственно, без глаз ничего этого не увидишь, ибо, хотя и полагается, чтобы «красота вообще» была лучше, чем красота земли, неба и моря, но без этой конкретной «единичной» красоты мир не есть мир. Такая красота должна быть вечной и нетленной. А зло? Так ведь от зла можно «бежать», уйти в самого себя, наконец, можно и претерпеть немного на этом свете, где столько дивно прекрасного. И затем против зла можно придумать «теодицею», которая все беды человеческие, хотя их и много, руками разведет. Даже и моральное «зло» можно объяснить, допустив чуть-чуть заметную непоследовательность, которой и тонкий знаток философии не разглядит. Главное, не отдавать, ни за что на свете не отдавать красоту мира. В этом существенная разница между Плотином и гностиками. Плотин принимал и дары и Дарящего, хотя, уступая эллинским философским традициям, главным образом Аристотелю, и стремился всячески ограничить и связать Творца мира и изобразить его «необходимо» или «естественно» одаряющим. То есть теоретически оставлял за собою и своим разумом право контроля и возможно полную независимость. Гностики же, очевидно, более пораженные зрелищем земных ужасов, чем земной красотой, решили отвергнуть все земное в надежде, что где-либо, в ином место, они обретут и нетленные дары, и совершенного Демиурга. Здесь же, на земле, люди живут только затем, чтобы не покладая рук бороться со смертью. Явно, что гностики были последовательнее. Значит это, что они были ближе к истине? Нисколько не значит. Вернее всего, что ни гностики, ни Плотин не были близки к истине. Вернее всего, что истина вообще имеет мало отношения к тому, что делают люди, подобные гностикам и Плотину. И стало быть, им, пожалуй, не о чем было спорить, несмотря на то что они говорили и делали каждый свое и непохожее. И отречение от мира у гностиков, и приверженность миру у Плотина вовсе не должны присваивать себе имя истины и проходить под ее флагом. Значит, и споры были излишни? Если хотите, они и не спорили, и отлично de facto могли бы уживаться рядом, если бы не-

угомонный разум не тащил их без всякой нужды к суду и очной ставке. Конечно, раз суд, раз вперед объявлено, что будет либо осуждение, либо оправдание, поневоле начнешь защищаться и доказывать, даже браниться и царапаться. Но разве, спрашиваю, так уж непременно судиться нужно? Разве вечерняя звезда спорит о красоте с молнией? Или кипарис с пальмой? Думаю, что и Плотин с гностиками только «здесь» судились. «Там» никому бы и на мысль не пришло ставить вопрос об их «правоте». Правы были и гностики, в своих исканиях оправдания и искупления мук мира забывшие о красоте мира, прав был и Плотин, в восторге перед красотой мира забывший о царящем здесь зле. А мы, их дальние потомки и наследники, прислушивающиеся по ночам к голосам людей, уже больше чем пятнадцать веков тому назад покинувших нашу земную юдоль, мы принимаем и сетования их и гимны, и только недоумеваем, как это могло случиться, что напряженное творчество этих замечательных людей могло так бесследно пройти для современной нам науки. Ведь науке нет дела до того, что происходило в душах этих людей. Наука даже не знает, что у них были «души». Все их «лучше», «хуже», «во что бы то ни стало» и «ни за что на свете» на весах науки не перетянут лота, золотника, даже доли самого обычного песку и даже грязи. Это «иррациональный остаток» и исследованию не подлежит.

XLIV

Идея хаоса. Идея хаоса пугает людей, ибо почему-то предполагается, что при хаосе, при отсутствии порядка нельзя жить. Иначе говоря, на место хаоса подставляется не совсем, с нашей точки зрения, удачный космос, т. е. все же некоторый порядок, исключающий возможность жизни. До такой степени идея порядка срослась с нашим душевным строем. На самом деле хаос есть отсутствие всякого порядка, значит, и того, который исключает возможность жизни. Хаос вовсе не есть ограниченная возможность, а есть нечто прямо противоположное, т. е. возможность неограниченная. Постичь и принять абсолютную свободу нам бесконечно трудно, как трудно человеку, жившему всегда в темноте, глядеть на свет. Но это, понятно, не возражение. Тем более, что в жизни, в той жизни, которая возникла в нашем мире, где царит порядок, встречаются трудности много большие и абсолютно неприемлемые. И тот, кто знает эти трудности, не побоится попытать счастья с идеей хаоса. И пожалуй, убедится, что зло не от хаоса, а от космоса, и от космоса же все те «необходимости» и «невозможности», которые превращают наш мир в юдоль плача и печали.

XLV

Источники познания. Мысли-молнии, внезапные озарения, и мысли, продуманные, приведенные в связь с прошлым и служащие основанием для будущих мыслей: которым верить? если Эрос — источник высшего познания, то, конечно, первым. Древние верили озарениям, и лишь новые, опираясь на положительную науку, стали требовать единства познания. У Платона его теория идей только называется теорией. Она слабо связана с его последними достижения-

ми, и мифы ближе ему, чем «разумные выводы», за которыми мы до сих пор продолжаем идти к нему. Скорее можно сказать, что диалектика находится у него под властью мифов, и, во всяком случае, она сплошь и рядом является самоцелью для него. Платон радуется подслушанной им музыке идей, т. е. ценит идеи, поскольку в них слышна ему своеобразная, пленительная, хотя и не достигающая совсем до слуха других гармония. Так что идеи привлекают его совершенно независимо от того, соответствуют ли они действительности. «Влюбленный философ» мало и заботится о том, разделяют ли его восторг перед открытой им красотой другие люди или не разделяют. Он влюблен. Любовь есть его последняя цель и самооправдание. Да и нужно ли еще что-нибудь? Нужно ли Эросу пред кем-нибудь оправдываться, когда он сам все оправдывает? «Озарил», сотворил прекрасное — других забот у него нет... Да и вообще у него никаких забот нет. Его дело в том, чтобы вырвать человека из озабоченности будничного существования. Раз приходит Эрос, все ограничения, условности, все «труды» кончаются, начинается праздник, когда можно то, что нельзя в обыкновенные дни, когда можно не трудиться, не добывать, а просто «брать», когда упряжки, законы, разделения, предписания сами собой падают. Последнее слово за Платона через 700 лет договорит Плотин. Μόνος πρὸς μόνον, человек лицом к лицу перед богом, по ту сторону, над всем, что связывало, даже над знанием и даже, если хотите прежде всего над знанием, ибо что более ограничивает, чем знание? Только «там», в слиянии с богом, свобода, там истина, там заветная цель всех наших устремлений. И это слияние есть raptus, «восхищение» — оно в противоположность знанию есть то, что бывает в жизни наиболее мгновенного, внезапного, наименее всего умещающегося в обычные категории понимания, которые имеют своей задачей даже божественные озарения превратить в то, что semper ubique et ab omnibus creditum est.

XLVI

Вопрос. Мысленные усмотрения, особенно новые, неожиданные, сопровождаются обычно великой радостью. Точно награда за «добродетель» неутомимости и смелости. Но ведь есть люди, которым возбранены радости. Таким людям и «усматривать», открывать возбранено? Нельзя «увидеть» и не обрадоваться, как голодному нельзя есть и не испытывать удовольствия. Аскеты не раз отказывались от еды, потому что не могли есть «бесстрастно». Нужно ли тем, кто наложил на себя обет безрадостности, перестать думать, искать и видеть, и только бессмысленно, тупо, безразлично ждать? Или «духовные» радости всегда дозволены, даже наложившим на себя обет? А что иногда нельзя бывает не возложить не только отдельному человеку, но и целому народу на себя обет безрадостности, теперь, я думаю, очень многие это понимают. Евреи уже тысячелетия плачут о разрушенном Иерусалиме, теперь русские — о России. И никакие видения им не милы, стало быть, никакие видения и невозможны. Разве потом, в отдаленном будущем, долго накоплявшаяся энергия вспыхнет ярким пламенем «откровения»...

XLVII

Поверхности и глубины. Плотиновский экстаз — последняя вспышка эллинского гения, уже только с трудом и лишь при величайшем душевном напряжении способного «вспомнить» о том, о чем свидетельствовали древние и блаженные мужи, жившие близко к богам. Аристотель все сделал, чтобы вытравить из душ людей следы анамнезиса об иной жизни. И потом уже ничего не помогало. Как ни старалось средневековое католичество, древняя истина все больше и больше забывалась: никто не хотел или не умел верить, что когда-то люди жили близко к богам. Новая философия начинается со Спинозы, который уже открыто порывает с древностью. Никогда наши предки не жили близко к богам. И богов никогда не было. Нужно самому человеку создать бога — amor dei intellectuālis*. И дальше Спинозы люди не пошли уже. Сейчас даже Спиноза, слабый отблеск Плотина, только в редкие минуты искусственного душевного подъема достигавший подобия того «единения», которое, по-видимому, само собой давалось древним мужам, уже нам кажется слишком «мистическим». Боги, и демоны, и гении умерли — мир заселился началами, принципами, правилами, которые всем кажутся наиболее или даже единственными правомочными наследниками прежних фантастических существ. Древние заблуждались. Они видели то, что легко бросалось в глаза, что лежало на поверхности, и что видели, то считали богом. Начала и принципы же кроются в глубинах, они невидимы, их трудно добыть. А только то может быть истинно и прекрасно, что добыто с трудом: вся жизнь тому служит доказательством и порукой... Но иногда приходит сомнение и по поводу самоочевиднейших положений. Может быть, лучшее, самое нужное не в глубине, а на поверхности и не трудно, а легко должно даваться человеку. То, что добыто трудом, культурой, борьбой, усилиями — как бы мы ни ценили все это — все-таки ничтожно сравнительно с тем, что нам далось само собой, без напряжения, что получили в дар от Бога. Наше проклятие в том, что мы уже можем верить только в то, что сами добываем в поте лица и рождаем в муках. Конечно, наказание нужно принять, от него не избавишься. Но, когда кончится срок испытания, забудутся глубины, и Майя получит вновь все те права, которые по решению Бога отнял у нее дьявол, — он же — разум, направив человека от светлой поверхности бытия к темным корням и началам.

XLVIII

Путь к истине. «Как вода, я пролился, и расторглись все кости мои, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренностей моих» (Пс. 22, 15). Чтоб увидеть истину, нужны не только зоркий глаз, находчивость, бдительность и т. п., нужна способность к величайшему самоотречению. И не в обычном смысле. Недостаточно, чтобы человек согласился жить в грязи, холоде, выносить оскорбления, болезни, жариться в фаларийском быке. Нужно еще то, о чем вещает

* Любовь умного бога (*лат.*).

псалмопевец: внутренно расплавиться, перебить и переломать скелет своей души, то, что считается основой нашего существа, всю ту готовую определенность и выявленность представлений, в которой мы привыкли видеть veritates aeternae. Почувствовать, что все внутри тебя стало текучим, что формы не даны вперед в вечном законе, а что их нужно ежечасно, ежеминутно создавать самому. Тысячелетия человеческая мысль неустанно работала над тем, чтобы определить и зафиксировать вечное, как всегда себе равное и неизменное. Сократ пошел учиться этому искусству к ремесленникам, к техникам. Кузнец, столяр, плотник, повар, врач — они знают, что делать, у них есть понятие о «добре», готовая, твердая causa finālis, определяющая их задачи. У них и мы можем узнать, что такое «добро», ибо добро ведь всегда и везде одно и то же. Но «добро» богов, которое нужно было Сократу, нисколько не похоже на добро кузнецов, плотников и врачей. Только название одно. Боги не знают «техники» и не нуждаются в ней. Они не ищут ни твердости, ни прочности, ни законов. Есть понятие стола и подковы. Но нет понятия добра: кузнецам и плотникам нужно делать свое дело и своим делом ограничиться. Как их инструменты — топоры, молотки, пилы и пр. — не нужны и не могут пригодиться философу, так же и их идеи и методы ничего не дадут тому, кого призвал Аполлон к священной жертве. Перенесши из житейской практики в науку представление о «законе» и «общем понятии», Сократ дал науке очень много, но метафизику осудил на медленную и верную смерть. «Критика чистого разума» родилась в тот час, когда Сократ решился искать «добро» у ремесленников. Метафизика превратилась в ремесло. И теперь наша задача, быть может, и невыполнимая, ибо Сократ стал второй нашей природой — выкорчевать из своей души все «закономерное», все «идеальное». По примеру псалмопевца разбить скелет, которым держится наше старое я, расплавить свои «внутренности». Законы и твердость — только на земле, для временного существования. И «идеальное», будет ли оно causa efficiens или causa finālis*, тоже только на земле. За пределами земного существования человеку приходится самому создавать и цели и причины. И чтобы научиться этому, человек должен испытать то ужасное чувство оставленности, о котором рассказывается в начале того же 22-го псалма: «Господи, Господи, отчего Ты меня покинул!» Нет Бога, человек предоставлен себе, и только себе. Даже нет надежды, которой иногда утешался Сократ, что смерть есть сон без сновидений. Нет, сон посетят видения. И главное видение: Бога нет, человек должен сам стать Богом, т. е. все творить из ничего; все: и материю, и формы, и даже вечные законы. Таков опыт древних, блаженных людей: прочь от знания, почвы, уверенностей, всего того, что дается людям «общей» жизнью. В этом их «великая» надежда! И не только древние, но и более близкие к нам по времени люди кой-что знали об этом и в своих писаниях свидетельствовали. Непримиримые враги, основатель иезуитского ордена Лойола и расстрига монах Лютер, оба учат, что только человек, затерявшийся в вечности и предоставленный самому себе и

* Действительная причина или конечная причина (*лат.*).

своему безмерному отчаянию, способен направить свой взор к последней Истине. Отсюда и загадочные слова Лютера в его комментарии на послание к Римлянам: Blasphemie... aliquanto sonant gratiores in aure Dei quam ipsum Alleluja vel quecumque laudis jubilatio... Quanto enim horribilior et fedior est blasphemia, tanto est Deo gratior. — т. е. богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу. Таков же смысл одного из основных правил «духовных упражнений» (exercitia spiritualia) Игнатия Лойолы: quanto se magis reperit anima segregatam ac solitariam, tanto aptiorem se ipsam reddit ad quaerendam intelligrendumque creatorem et dominum suum — чем больше отрывается душа (от мира) и уходит в уединение, тем более становится она способной искать и постигать Творца своего и Господа...

XLIX

Sola fide. Платон назвал время подвижным образом вечности. Может, правильнее было бы сказать: вечность есть неподвижный образ времени. Философы всегда считали время своим врагом, и мечта всех метафизиков — преодолеть время, в котором, как и в материи, принято видеть источник зла. Время пожирает собственных детей, учат нас, от него пошло непостоянство, изменчивость, неустойчивость, от него же и гибель. Обычно изменчивость и непостоянство ставят в прямую связь с гибелью: не было бы изменчивости, не было бы и гибели. И кто хочет бороться с гибелью и смертью, тот стремится преодолеть время и вытекающую из него изменчивость. Правда, одновременно борются и с «материей», хотя материя — сама косность, т. е. прямая противоположность изменчивости и непостоянству. Если бы в мире была одна только материя, все всегда бы равнялось себе, не было бы никаких перемен, а стало быть, и гибели! Но косный материальный мир — это ведь сама смерть! Из такого сопоставления неизменности материи с непостоянством форм следовало бы заключить, что время не враг, а союзник живого человека, что оно только и дает надежду на возможность вырваться из власти мертвой материи. И что настоящий враг человека, символ и воплощение смерти — это вечность, т. е. отсутствие времени. Оттого-то материя имеет своим основным предикатом вечность и неизменность. Время пришло в мир вместе с человеческой душой, обманувши бдительность вечности, ревниво сторожившей его, и вместе же с душой объявило войну косности. Так что, быть может, и правильно видеть во времени начало всех γένεσις 'ов (рождений), но связывать с временем φψορα (гибель), как это делали древние, никоим образом нельзя. Время создает только возможность перемен и великих превращений. Гибель же не от времени. И если время так могущественно, как это кажется эмпирическому сознанию, то с его могуществом должны быть связаны величайшие упования человечества. Вначале были неподвижная вечность и ее сестра — смерть. Когда пришло время, вырвавшееся из оков косности и неизменности, с ним вместе пришла и жизнь. И с тех пор в мире борются жизнь со смертью. Кто побеждает? Во всяком случае, нет

никакого основания утверждать, что побеждает смерть. До сих пор, по крайней мере, смерти не удалось вытеснить из мира жизнь. Иной раз кажется, что смерть и вечность, равно как и материя, сделали уже очень значительные уступки времени, даже поступились своими суверенными правами. То есть и вечность, и смерть, и материя из субстанции постепенно превращаются в акциденции, из королей, самодержавно предписывавших закон бытию, в сговорчивых, готовых на компромиссы правителей. Уже Платон заподозрил в материи «несуществующее», Аристотель в ней видел только потенциально существующее, а Плотин — немощный, жалкий, расслабленный призрак. И точно, материя больше всего похожа на призрак, и кажется, что даже в нашем эмпирическом существовании не она властвует, не она связывает живого человека. Она только служит ему — не знаю, временным или метафизическим его нуждам: может, и тем и другим. Недаром ведь Плотин в конце концов решился унести ее с собой в «тот» мир, где она уже является не источником зла, а источником добра. По-видимому, как только материю отделить от идеи «необходимости», так тотчас же выяснится, что в ней не одно дурное, а есть и хорошее. Еще в большей степени это можно сказать о формах. Уже здесь, в эмпирическом мире, мы убеждаемся, что формы не подчинены всецело закону или законам необходимости. Вся прелесть и притягательность форм в значительной степени коренится в их способности переходить одна в другую. Безобразная глыба на наших глазах превращается в прекрасную статую. И безобразный человек, нужно думать, может стать прекрасным — только это, конечно, уже сложнее и труднее, и человеческому искусству не дано или в очень слабой степени дано творить чудеса таких превращений. Но дано, очевидно, предчувствовать их возможность. Отсюда и вытекает «теория идей» Платона, на этом зиждется и философия пробуждения Плотина. Платон не считает наш мир реальным. Плотин рвется за пределы эмпирии — его ἔκστασις (экстаз) есть попытка уже здесь, на земле, проснуться от самовнушений, расколдовать вековечные чары, которые воплотившись в образ «самоочевидных истин», парализуют ум и волю даже отважнейших людей. Это и есть столь прославленное «бегство от жизни». Причем загадочным образом и у Платона и у Плотина бегство от жизни вовсе не предполагает ненависть и презрение к миру. С каким негодованием Плотин отнесся к учению гностиков! Плотин не презирает, Плотин всей душой любит мир и все в нашем мире — он, который вслед за Платоном всегда твердит, что смерть лучше жизни. Это «вопиющее противоречие» (и далеко не единственное: вся философия и Платона и Плотина сплетена из вопиющих противоречий, которые тщательно сохраняются нами во всей своей неприкосновенности) вовсе не должно быть устранено из философии Плотина, ибо с ним ушла бы из нее и ее душа, ее жизнь. Основной недостаток большинства, почти всех исследований о Плотине в том, что их авторы обычно стремятся смягчить объяснениями и толкованиями либо устранить своими добавлениями и исправлениями замеченные ими у него противоречия. Прием абсолютно недопустимый... Когда Гартман, который сам себя считает и другими считается кон-

гениальным Плотину, пытается — все ради погашения замеченных им противоречий — заменить плотиновское «единое» выработанным Спинозой понятием «субстанция», а «разум» и «мировую душу« превратить в атрибут мышления и воли, он просто отнимает у себя и у других действительного Плотина. Он это делает с совершенно спокойной совестью, ибо убежден, что философия есть «общее делание» и что ряд философов, следовавших за Плотином, прибавили к оставленному им наследству многое такое, от чего сам Плотин, если бы можно было вызвать к жизни его дух, не отказался бы. Откуда такое убеждение? Философия не есть и не может быть общим деланием, как она не может быть наукой в общепринятом смысле этого слова. В особенности это нужно сказать о философии Плотина. Плотина нельзя дополнять Спинозой, Шеллингом, Шопенгауэром или Гегелем. Плотина и вообще нельзя дополнять. Его можно только слушать и, насколько удается, воспринимать. Его даже нельзя подвергать критике, в той части его воззрения, где он касается собственно философских вопросов. Мы, конечно, не обязаны принимать его физику и астрономию. В области положительных наук его сведения, конечно, ничтожны сравнительно с нашими. Но за философией мы идем к нему, а он в свой черед шел к людям, жившим задолго до него и еще меньше его осведомленным. И он, и Платон были глубоко убеждены, что древние были «лучше» их и жили ближе к богам. Верно это? Должны ли и мы думать, что Плотин, так давно живший, был лучше нас и, главное, жил ближе к богам, стало быть, к источникам последней истины? Вопрос кардинальной важности, который, к сожалению, наша современность не смеет не то что разрешить, но и поставить. Для нас история философии — основная наука, и основная наука не для историков, а для философов. Физику или ботанику вовсе нет надобности изучать историю физики или ботаники; если они и интересуются историей своих наук, то между прочим только. Но ни один философ, даже такой, который верит в прогрессивное движение философской мысли, не ограничится знакомством с новейшими авторами. Платон, Аристотель, Плотин нам нужны не меньше, чем Кант или Гегель. Больше того, можно обойтись без современных философов — Вундта или Спенсера, но без Платона или Плотина вы не обойдетесь. Древние философы при всей своей отсталости, даже невежественности в областях положительного знания, для нас вечные и незаменимые учителя. Так же как и в области искусства, «современность» не дает ровно никаких преимуществ новейшим поэтам перед Гомером, Софоклом, Эсхилом, даже перед Горацием или Виргилием. Данте и Шекспир вдохновляют нас больше, чем Виктор Гюго или Мюссе. И еще с большим правом можно сказать это о религиозном творчестве. Библия до сих пор остается книгой книг, вечной книгой. За одно послание ап. Павла или одну главу из пророка Исаии не жаль было бы отдать богословскую литературу целого поколения последующих эпох человеческого существования. И это, конечно, не случайность. Науки развиваются, совершенствуются. Положительные знания накопляются и передаются по наследству. Потому каждое последующее поколение ученее предыдущего. Аристотель прав — основной

признак знания в том, что оно может передаваться всякому. Но в философии, искусстве, религии дело обстоит совсем иначе. «Знания» философа, художника, пророка не поступают в качестве предметов постоянного пользования в человеческий обиход. Для Платона его «анамнезис», его «идеи», его «эрос» были знанием, самым философским знанием. Но Аристотель уже «опровергал» его : и до сих пор все эти знания можно черпать только из сочинений самого Платона, в то время как оправдавшиеся положения древней физики или механики мы находим в любом учебнике, даже без указания на то, кто и когда впервые принес их человечеству. Если говорят Пифагорова теорема, Архимедов рычаг или даже законы Ньютона, то только для упрощения и краткости. Иное дело, когда речь идет об идеях Платона, об «едином» Плотина, энтелехии Аристотеля, amor dei intellectualis* Спинозы и даже постулатах Канта. Тут творец значит столько же, сколько и сотворенное им. Совершенно так же, как Фидия или Праксителя, Леонардо да Винчи или Рафаэля, Софокла или Шекспира нельзя описать или рассказать своими словами, а нужно самому увидеть или прочесть. Я уже не говорю о псалмах, книгах пророков, апостольских посланиях: кто их не читал, а знает только со слов других, не подозревает даже того, что они говорили. Правда, и читавшие часто не подозревают и не прозревают их. Вернее всего, что мы не может никак проникнуть в отдаленное прошлое. И чем прошлое более глубокое, тем труднее воспроизвести его при помощи обычных исторических методов. Не следует обманывать себя и преувеличенно доверять нашей способности читать по оставшимся материальным следам историю земли, жизни, людей, народов. Все данные думать, что мы читаем плохо, очень плохо, и что плохое чтение принесло нам немалый запас ложных идей и знаний. Мы всегда «читаем», исходя из предположения, что под солнцем не бывает и не может быть ничего нового. Предположение, повидимому, совершенно неверное и ни на чем не основанное: под солнцем бывает новое, но у нас нет глаз, чтобы разглядеть его: мы умеем видеть только старое. Такое новое, к примеру, сказание Библии о грехопадении Адама. Если мы отнесемся к нему, как полагается историкам, т. е. людям, ищущим естественной связи явлений и á priori уверенным, что в глубине веков они не найдут ничего такого, чего нет и в наше время, то мы будем принуждены либо ложно истолковать его, либо признать его позднейшей, даже очень поздней интерполяцией. Последнее предположение нелепо. Сказание о грехопадении так тесно сплетено со всем библейским повествованием, что придется всю книгу Бытия, а за ней и остальные книги Библии отнести к ближайшей нам эпохе. Но как быть тогда? Как объяснить естественно, что маленький, невежественный, бродячий народец мог додуматься до мысли, что величайшим грехом, изуродовавшим человеческую природу и повлекшим за собою изгнание человека из рая и все последствия этого изгнания — нашу тяжелую, мучительную жизнь, с работой в поте лица, с болезнями, смертью и т. п., что величайшим грехом наших праотцов было «доверие к разуму»? Что,

* Интеллектуальная любовь (*лат.*).

сорвавши яблоко с дерева познания добра и зла, человек не спас, как бы, казалось, должно было быть, а погубил себя навсегда? Как могла такая мысль, спрашиваю я, прийти в головы первобытным пастухам, которые все свое время и все свои силы должны были отдавать «борьбе за существование», т. е. заботам о своих коровах и овцах? Какая тонкость и изощренность ума, какая культурность нужна для того, чтобы подойти к этому роковому вопросу? И сейчас даже ученейшие люди отмахиваются от таких мучительных проблем, чувствуя, что не только разрешить, но даже постичь их во всей их глубине и сложности человеку не дано или почти не дано. Можно сказать больше: несмотря на то что Библия в течение веков была настольной книгой европейского человечества и что каждое ее слово считалось священным, наиболее образованные и мыслящие люди не понимали и не понимают сказания о грехопадении. И сейчас никто из нас не понимает, органически не способен понять кроющейся в нем загадки, Почему дерево познания есть дерево смерти, а дерево жизни не дает познания? Ведь весь опыт наш доказывает противоположное. Познание оберегает жизнь, делает для человека — слабого, ничем естественно не защищенного животного — возможным борьбу с другими опасными для него животными. Познание — источник силы и могущества нашего... Казалось бы так! И вот мы не понимаем сказания о грехопадении — как же могли понять его, да еще «выдумать» невежественные, грубые пастухи? Ясно: не могли они ни понимать, ни выдумать его. Точно так же, как не могли они, конечно, прийти по оставшимся видимым следам к заключению, что когда-то был потоп. Легенда о грехопадении была принесена евреям откуда-то извне, досталась им «по наследству» и потом уже передавалась из поколения в поколение. Стало быть, по времени своего происхождения она должна быть отнесена к отдаленнейшему периоду человеческой истории. Но сколько бы ни отодвигали в глубь времен создание легенды о роковом дереве, мы все же не облегчаем себе задачи: только усложняем ее. Ведь предки живших в Палестине евреев были еще невежественнее, были совсем первобытными людьми, дикарями. Могли ли они не то что разрешить, но и вообще одумывать и обсуждать такие проблемы, противопоставлять жизнь познанию... Повторяю, что и сейчас образованнейшие люди «своим умом» не дошли бы до такого противопоставления. Когда Ницше принес его из своих подземных и надземных странствий «по ту сторону добра и зла», все были ошеломлены, точно мир никогда об этом ничего не слышал. И это несмотря на то, что он только вновь повторил древнее сказание о росших в раю деревьях! И что об этом до того так страстно и вдохновенно рассказывали и пророк Исайя, и опиравшийся на пророка ап. Павел, и даже гремевший на весь мир Лютер, весь смысл учения которого сводился к тому, что человек спасается не делами своими, а единой верой — sóla fide и что уповающие на свои добрые дела обречены на вечную смерть. Так вот, если мы, несмотря на то что и пророки, и апостолы, и философы столько раз возвещали нам эту истину, не могли и не можем воспринять ее, как могли евреи сами до нее додуматься? Очевидно, не могли. Тоже очевидно, что им не у кого было перенять ее. Откуда же

она пришла к ним? И если она пришла к ним «естественным путем», то почему же мы и теперь не может разгадать ее таинственного смысла? Отчего она даже тем, кто считает Библию откровенной книгой, кажется не то что ложной, а лишенной всякого смысла? Не может быть, твердит наш разум, наше все «духовное» существо, чтобы от познания пришла смерть. Ведь это значило бы, что освободиться от смерти можно, только освободившись от познания, потеряв способность отличать добро от зла?! Это было «открыто» нашим отдаленным предкам, они пронесли через тысячелетия открывшуюся им истину; десятки, сотни миллионов людей знали и знают то место из Священного Писания, где рассказывается о грехопадении, но понимать — никто его не понимает, и еще меньше можем мы уяснить себе, зачем нам была открыта тайна, которую — даже после того, как она была открыта, — никто постичь не может. Богословы, даже такие, как блаженный Августин, боялись этой тайны, и вместо того, чтобы читать то, что написано было в Библии, т. е. что человек стал смертным потому, что вкусил плод от дерева познания, читали, что человек стал смертным, потому что ослушался Бога. Другие понимали еще более грубо и видели первородный грех в concupiscentia, которую будто бы Адам, соблазненный Евой, не умел преодолеть в себе. Но это уже не чтение, а толкования, искусственные и умышленные. Если бы человек ослушался другого приказания Бога — последствия не были бы столь тяжкими и роковыми: об этом и сама Библия свидетельствует в дальнейших повествованиях. Все дело было в том, что плод от дерева познания, росшего в саду Эдема наряду с деревом жизни, этот плод таил в себе неизбежную смерть. Бог и предупредил человека об этом. Но предупреждения не помогли. Подобно тому как, «съев яблоко и узнав», что он наг и что наготы нужно стыдиться, человек уже не мог не стыдиться, так, «узнав», что есть смерть, он уже не мог от смерти спастись. Не Бог его потом «осудил» — Бог только формулировал на словах то, что без него произошло, — человек сам себя погубил. Он поверил змию, что познание прибавит ему сил, и стал знающим, но ограниченным и смертным существом. И чем больше он «знает», тем больше он ограничен. Сущность знания в ограниченности: таков смысл библейского сказания. Знание есть способность и постоянная готовность оглядывания, оглядки, результат боязни, что если не посмотришь, что за тобой, то станешь жертвой опасного и коварного врага. До грехопадения Адам глядел на Еву и не стыдился — в наготе человеческой, как и во всем, что было в Эдеме, была только красота. А «стыдное», дурное, страшное пришло от познания и вместе с познанием, с его «критериями», присвоившими себе право суда и осуждения. Непосредственное видение не может принести с собою ничего дурного, ложного. Познание, создав ложь и зло, потом пытается научить человека, как ему своими силами, своими делами спастись от лжи и зла. Но «познание» и «дела», если принять загадочное сказание Библии, и были источниками всего зла на земле. Нужно «спасаться» иным способом, «верой», как учит ап. Павел, одной верой, т. е. напряжением душевным совсем особого рода, именуемым на нашем языке «дерзновением». Только забыв «законы», так прочно привязы-

вающие нас к ограниченному бытию, мы может подняться над человеческими истинами и человеческим добром. Чтоб вознестись, нужно потерять почву под ногами. Конечно, «диалектика» тут не поможет, не поможет и стремление к «вечности», которую мы будто бы нащупываем «умным сознанием» под переменным временем. Нам нечего бояться изменчивости: самый опасный враг наш — это «самоочевидные истины». Знаю, что труднее всего человеку, который осужден идти, сам не зная куда. По-видимому, такого требования нельзя совсем и предъявлять человеку. Но ведь тут речь и не идет о требовании. Никто не добивается, чтобы все люди всегда пренебрегали очевидностью. Пожалуй, даже наоборот, все всегда должны считаться с очевидностью. Но кое-кто, кое-когда может и не считаться, и даже не считается. И тогда начинает казаться, что вечность есть только неподвижный образ времени, что имеющее начало не имеет конца, что библейская философия много глубже и проникновеннее современной философии и даже — скажу все — что сказание о грехопадении не придумано евреями, а досталось им одним из тех способов, о которых вы ничего не узнаете из новейших теорий познания...

L

Жало смерти. Платон в «Тимее» говорит, что «естественная смерть безболезненная и сопровождается скорее удовольствием, чем страданием». Многие, очень многие философы держатся того же мнения. Оно и понятно, философ «обязан» давать ответы на вопросы, т. е. проблематическое превращать в самоочевидное, неизвестное сводить к известному. Но тому, кто хочет сам учиться, а не обучать других, смерть всегда представлялась и будет представляться как нечто в последней степени неестественное, как неестественное κατ' ἐξοχήν *. Он видит в смерти вечно проблематическое, что-то, что совершенно не мирится с обычным ordo et connexio rerum и даже idearum. Такому и нет надобности лицемерить и притворяться, утверждая, что смерть в старости «приятна». Смерть всегда страшна. Конечно, природа могла бы и иначе распорядиться. Могла бы так устроить, чтобы человек, почувствовав, что связь его с нашим миром разрывается, испытывал великую радость. Так оно и должно было бы быть, если бы смерть была «естественным» явлением. И почему считают, что смерть в старости «естественнее», чем в молодости? Если вообще слово «естественный» имеет хоть какой-нибудь смысл, то приходится признать, что все в мире естественно — здоровье, как и болезнь, смерть в молодости, как и смерть в старости, и т. д. Ведь противоестественное, т. е. то, что против естества, против природы, и существовать не может. А раз существует — то естественно. И если уже на то пошло, то гораздо естественнее — ибо так большею частью бывает — умереть в молодости или в среднем возрасте, от болезни или иной «случайной» причины, и умереть в мучениях, чем в старости, и безболезненно. Посмотрите статистические таблицы, если вам недостаточно собственного опыта и на-

* Главным образом (*греч.*)

блюдения: до глубокой старости доживают очень немногие люди, а про безболезненную или радостную смерть почти и не слышно. Смерть безумно мучительна и страшна. Даже внешний вид смерти ужасен. Если бы даже разложение организма не было связано с возможностью заражения окружающих, все же трупы пришлось бы сжигать или зарывать в землю. Непривычный человек даже и на скелет смотрит со страхом, который принято называть суеверным, но который, если бы мы были более любознательными, следовало бы совсем иначе квалифицировать. Так что вопреки Платону смерть есть самое неестественное, таинственное и загадочное из всего, что вокруг нас происходит. И обставлена она такими ужасами и страхами не случайно, а, пожалуй, именно затем, чтобы подчеркнуть ее загадку. Стало быть, вовсе нет и надобности приукрашивать смерть, делать ее менее страшной и проблематической. Ужасы смерти не случайны, а внутренне связаны с самым ее существом и связаны узами нерасторжимыми: из этого нужно исходить. Сам Платон это знал, когда писал Федона, под неизгладившимся еще впечатлением смерти Сократа. И точно: когда на наших глазах умирает учитель, соображения об естественности смерти и вообще об естественности едва ли кому могут прийти на ум. Тогда думаешь только о неестественном, о сверхъестественном. И разве может быть у нас уверенность, что естественное правомочнее и могущественнее сверхъестественного? Оно на первый взгляд постижимее, мыслимее, ближе. Но что толку и в первом взгляде, и в мыслимости, и в постижимости! Сократа-то ведь отравили, и его нет! Конечно, «естественное» не тревожит, легко переносится и приемлется, открыть же душу для сверхъестественного безмерно трудно. И только пред лицом великих ужасов душа решается сделать над собою то усилие, без которого ей никогда не подняться над обыденностью: безобразие и мучительность смерти заставляют нас все забыть, даже наши «самоочевидные истины», и идти за новой реальностью в те области, которые казались до того населенными тенями и призраками.

LI

Источники «возвышенного». Плотин считается самым «возвышенным» философом. Некоторые ставят его даже впереди Платона. И кажется, не без основания: Плотин никогда не смеется, даже не улыбается. Он воплощенная торжественность. Вся его задача — в этом он продолжает и завершает дело «мудрейшего из людей», Сократа, — оторвать человека от внешнего мира. Внутренние радости, внутренняя удовлетворенность, учит он, находятся вне какой-нибудь зависимости от условий нашего внешнего существования. Тело — тюрьма, в которой живет душа. Видимый мир — ограда этой тюрьмы. Пока мы ставим свое душевное благо в причинную зависимость от наших тюремщиков, — мы не можем быть «счастливы». Необходимо научиться презирать все внешнее, сотворенное, даже больше того — научиться воспринимать его как «несуществующее» — только тогда мы обретаем ту свободу, без которой жизнь кажется Плотину жалкой, пустой, призрачной. Сейчас обыкновенные люди

ценят удачу, славу, здоровье, красоту и т. п. Дается им это все — они радуются, не дается — огорчаются. Всякая радость, как и всякое горе, имеет у обыкновенных, чуждых философии людей свою причину. Но радость и огорчения философа, по Плотину, должны быть беспричинными, автономными. Душа радуется не потому, что ей «дали», подарили что-либо. Она радуется потому, что хочет радоваться. Она сама и одаряет себя и своим дарам радуется. Достигается такая возможность в состоянии ἔκστασις — экстаза, выхождения из мира, полного разрыва с миром. Что находящемуся в экстазе до личных событий, даже до событий, которые потрясают весь мир? Потерял доброе имя, здоровье, друзей, близких? Этим огорчаются только те, кто думает, что жизнь лучше смерти. Даже гибель родины не произведет впечатления на того, кто испытал радость слияния с Богом. Как добродетель не знает над собой господина — ἀρετὴ ἀδέσποτος, так нет господина и над мудрецом, постигшим последнюю истину. Пусть в мире происходит что угодно — мудрец всегда сохранит свою возвышенность и невозмутимость духа.

Теперь вопрос: в чем сущность слияния человека с Богом? Кому это нужно: Богу или одинокой человеческой душе? Но Бог совершенно бесстрастен, ему ничего не нужно. Это — аксиома Плотина. Значит, душе нужно. Душе, которая, по учению Плотина же, в преступном дерзновении решилась некогда вырваться из лона единого бытия для самостоятельного существования. Но стоит ли о такой преступной душе думать и создавать для нее философию? И потом — радость единения! Ведь радоваться-то может только все та же преступная, индивидуальная душа: Бог, как был, так и остался бесстрастным. Не есть ли указываемый Плотином путь — новое дерзновение — на этот раз уже не открытое, а замаскированное — индивидуального существа? В мире материальном ему не повезло, его первое дерзновение не удалось, и оно пытается на новый манер обмануть Бога, только бы сохранить за собой право на личное бытие и личные радости?

Или «хитрит» Плотин, бессознательное орудие в руках «всемогущего Бога», «обманутый обманщик»?! Ему внушено «свыше» заманить дерзновенных отступников и вновь вернуть их к предвечной покорности, и он, всецело поглощенный своей великой, пророческой миссией, вдохновенно вещает о мнимых «возвышенных» радостях последнего слияния. Он знает, что никаких радостей для того, кто отрекается от своей самости, быть не может — где уж там радость и восторги, когда бросаешься в объятия чему-то, что и существования не имеет, — вроде того, как загипнотизированная птица бросается в пасть очковой змеи! Но он тоже знает, что если говорить правду, то никто не пойдет за ним, и предвечное преступление, воспоминание о котором так терзает его философскую совесть, останется неискупленным. Справедливость должна восторжествовать, хотя бы ценой гибели всего человеческого рода. В этом, и только в этом «красота» и «смысл» возвышенности. Об этом мечтает то Единое, которое так бесподобно воспевает Плотин, к этому только оно и стремится. А радости, восторги, блаженство — это

только приманка, червячки, которыми приходится соблазнять людей, неспособных понять, что цель мироздания не в них и их судьбах, а в вечной закономерности и возвышенной строгости неизменного порядка.

LII

Дерзновения и покорности. Человек в своей жизни переходит много раз от дерзновения к покорности. Но под конец обычно покоряется. История философии — если положиться на мнение историков — есть история смирения человека. Но точно ли история философских учений выразила собой историю наших духовных борений? И вообще история культуры, как ее принято изображать, есть ли в самом деле итог всего человеческого делания, всех наших устремлений и достижений? Я думаю, нужно сказать: нет, не есть. Такие признания вырываются иной раз и у профессиональных историков, которые поправдивее. Философия истории Гегеля есть грубая и вредная фальсификация жизни. Его разумная действительность и не разумна и не действительна. Дерзновение не случайный грех человека, а его великая правда. И люди, возвещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение для них было только способом, приемом борьбы за свое право. Оттого-то Платон и Аристотель победили. В стороне, как разбитые, оказались Протагор, пророк Исайя, ап. Павел из древних, Паскаль, Шекспир, Гейне и др. из новых. Но «история», *наша* история, считает без хозяина. Последний страшный суд не «здесь». Здесь одолели «идеи», «сознание вообще» и те люди, которые прославляли «общее» и провозглашали его богом. Но «там» — там дерзавшие и разбитые будут услышаны. Единственное возражение: никакого «там» нет, есть только «здесь». И Бог только здесь, а не там. Это возражение, не спорю. In hoc signo vinces, in hoc signo vincuit et vincentis et vincant*.

* Сим знаменем ты победишь, сим знаменем они побеждают и победят и да побеждают (*лат.*).